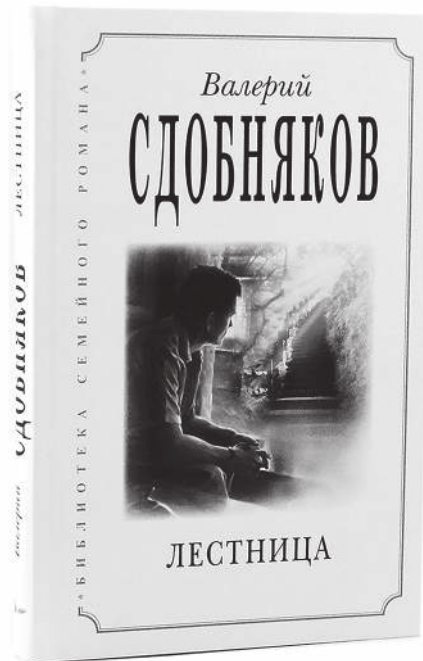


*Когда склонил я сердце мудрость познать  
И увидеть заботу, что создана под солнцем  
(Ибо ни днем, ни ночью сна не знают очи),  
То увидел я всё дело бога...*  
**(Соломон, гл 8)**

*Разрушим бесполезные стены, уничтожим лишние лестницы.  
Они так мешают ходить. Пусть люди, наконец,  
почувствуют себя свободными...*  
**(Сент Экзюпери, «Цитадель»)**



Что происходит с читателем во время прочтения настоящей книги? Он не только узнаёт незнакомого человека — автора, но и по-новому начинает осознавать самого себя, вспоминая, переосмысливая прожитое, а значит — ощущая себя иным в существующей действительности.

Важно ли это? Не знаю, как для других, для меня очень даже важно, и всё острее это понимается с годами, с жизненным опытом.

«Лестница» — книга рассказов и повестей, выпущенная в издательстве «Родное пепелище» к юбилею известного нижегородского писателя

Валерия Сдобнякова — во многом для меня не открытие, так как я читал эти произведения по отдельности в разные годы. Но в этот раз они вышли под одной обложкой, благодаря умелому составлению редактора и прозаика Владимира Чугунова. Таким образом, впервые у меня — читателя — выдалась возможность воспринять их цельно, не как отрывочные встречи, порой мимолетные, а циклом последовательных дней вдумчивого чтения, слагаемых из ранних метельных утр, дневных трудовых часов за письменным столом, вечерних камерных уединений и дальних путешествий.

Обложка «Лестницы» больше привлекает внимание не биографией, из которой узнаём о красноярских корнях писателя, об обширном списке книг, публикаций, наград и премий, а фотопортретом, на котором автор — крепкий мужик, много повидавший, дельно поживший и поработавший, в неподдельном образе человека думающего, но глубина его размышлений нам будет понятна только после прочтения.

Сегодня, когда мы всё чаще говорим об измелечании тем в литературе, да и чего греха таить — о деградации самого статуса писателя, существование такой фигуры, как Сдобняков показательно в виде примера — каким же должен быть писатель, наследник, так сказать, «по прямой» великой русской литературы.

Поразительно, насколько Сдобняков точен и скрупулёзен во всём: и в подборе цитат, и в своих текстах, а я писал почти обо всех его книгах, поэтому мое утверждение не голословно. И въедливость эта не поверхностная, а учителями привитая (одним из таких учителей, как не парадоксально это может показаться, стал Ф.М. Достоевский).

Именно Федор Михайлович высказал в своем журнале мысль, которая, очевидно, родилась в процессе создания романа с автобиографическим героем и более чем применимым ко всем нам сегодняшним россиянам названием «Униженные и оскорбленные»: *«Если есть у нас не совсем дилетантская деятельность, то это литературная деятельность... Мы так разрозненны, мы жаждем нравственного убеждения, направленья... Вот почему я думаю, что настоящее время даже наиболее литературное: одним словом, время роста и воспитания, самосознания, время нравственного развития, которого нам еще слишком недостает... Я всегда верил в силу гуманного, эстетически выраженного впечатления. Впечатления мало-помалу накаплиются, пробивают с развитием сердечную кору, проникают в самое сердце, в самую суть и формируют человека. Слово, — слово великое дело!»*

Подписываясь под каждым словом великого русского писателя, Сдобняков выводит часть фразы в эпиграф, давая нам направление к размышлению. Хотя кто сегодня читает эпиграфы?

«Лестница» открывается одноименным рассказом. Главный герой — молодой человек на переломе судьбы в поисках смысла своего бытия попадает в комнату... тут бы современный читатель, привыкший к фэнтезийной литературе, с удовольствием вставил бы — волшебницы.

В комнате этой живет Ольга — парализованная девушка, существующая помощью соседки и беседами со случайными гостями, чтением книг, своими мыслями, неожиданными по глубине для здоровых и светлых современников, мыслями, которые сделали бы честь любому философу прошлого и настоящего.

Уверен, немногим из читателей приходилось общаться с тяжелобольными, умирающими неродными людьми, осознающими не только свой скорый уход, но и всю безнадежность своего земного положения. И тут мы с героем повести очень даже похожи. Не то чтобы я находился в столь же сложном разобранном психологическом состоянии, как он, но уж точно мы с ним неожиданно для себя совершили столь необходимое каждому открытие «смысла жизни», как бы громко ни звучали эти слова.

Я шел по своей лестнице, так же, как герой рассказа, не подозревая к кому иду... Меня — молодого учителя словесности попросили позаниматься с другом с большим ребенком-десятиклассником (тогда, в первые постсоветские годы учились правильные десять лет, а не нынешние бесконечно-невыносимые одиннадцать).

Я был не только молодым учителем, но еще и совсем юным отцом трех здоровеньких, шустрых, озорных дочурок — пятиклашек той же обычной средней школы московских окраин. Я и представить не мог, что рядом могут жить больные дети. А уж про ДЦП я, кажется, и вовсе ни разу не слышал. Или не хотел слышать и знать...

Первая наша встреча завершилась очень похоже: «Уходишь... Я знаю, ты больше не придешь...». Это были слова Ольги, сказанные герою и услышанные мной спустя десятилетия. Именно так проводила меня мама моего ученика. И я, как и герой повести «больше не собирался возвращаться». Как это сделали многие до меня...

Я вовсе не намерен пересказывать ни жизнь свою, ни тем более рассказ. Важнее отметить совпадения, а еще проследить, как автор из житейской истории притчу творит. Только на первый взгляд это реалистический текст. А на самом деле — притча о силе человеческой любви к ближнему. И, как ни странно, самым любящим оказывается неизлечимо больной человек.

Читал и думал, почему же автор назвал книгу «Лестница»? Ну, хорошо — открывается этим рассказом вся книга. Но зная предыдущие книги писателя, такой простой ответ меня не удовлетворил. Вроде бы весь сюжет книги — если так можно сказать о соединенных воедино двенадцати рассказах — крутится вокруг сбережения родной земли, будь то Сибирские или Волжские просторы или судьбы людские. Так почему же во главу угла ставится проблематика первого рассказа?

Понимаешь в итоге, что хотя автор и не планировал отправить всех своих героев к Ольге из «Лестницы», но само собой так получается, что каждому есть о чем с ней поговорить по душам.

И привносят гости с собой в ее каморку весь внешний, незнакомый ей мир. В каморку, в которой быт не играет никакой роли вообще, зачем он почти «бестелесному» человеку? И этот момент автор показал так же точно и отчетливо.

Павел (повесть «И воздастся по делам нашим...») принесет не только боль недоверия к людям, но и красоту Восточносибирской тайги, через одну из таежных рек он с бригадой возводит мост. И следом за ним взбежит по лестнице паренек-сирота Валька из бригады Павла, окунувшийся с головой во взрослую жизнь, где сразу же узнает почём фунт лиха, останавливая воровавших доски местных жителей и становясь свидетелем убийства.

Так и кажется, что не Павел стоит у больничной постели Вальки, а Ольга, потому что слова Павла вполне могли быть сказаны ею в потаенной беседе в её гнёздышке на площадке после двадцатой ступеньки, в доме на нижегородской Стрелке, у слияния Волги и Оки.

Первая часть книги словно вводная. В ней о погибающей великой матушке-реке в очерках «О Волге, радости и боли нашей» и «Ветлуга», о незабываемой охоте в рассказах «На острове» и «Птицы над нами», об интересных встречах и важных беседах. Эти тексты создают общую картину, историческую, географическую, духовную, чтобы потом вписались в этот пейзаж судьбы героев из рассказов и повестей второй части: «студента» Сашки из «Сезона», потерявших работу в первые годы строительства новой России Алексея Усольцева из «Утешения», и такого же постсоветского Сергея из «Искушения», вдобавок к безработице похоронившего отца, и застрелившегося потомственного съемщика золота Алексея из «Последнего дня». Автор подает читателю глубочайший

по содержанию материал в особом преломлении, через жизнь и мысли обычных героев, людей из разных слоев общества, разных национальностей, к тому же живущих по всей необъятной территории страны. И этот ход к месту, потому что еще Лермонтов доказал своим «Бородино», что простые люди вполне могут адекватно рассказать о великих событиях истории, которым оказались свидетелями.

Вследствие именно такого авторского подхода, и кажется, что герои друг за другом приходят со своей бедой к Ольге — героине «Лестницы», а следом за ними бредут и жители чуть ли не всего СССР — страны, которой в одночасье вдруг не стало на картах мира. Это допущение моё вполне мотивировано и самим названием книги, и глубиной философского посыла в заглавном рассказе, и словами эпитафии: *«Мы так разрозненны, мы жаждем нравственного убеждения, направленья...»*. Точкой воссоединения в пространстве и времени и оказывается маленькая комнатка Ольги, пока вокруг всё неозвратно рушится.

Как просто перепечатают карты мира! Но как же болезненно и кроваво будут прочерчиваться через все двухсотмиллионные жизни ново-рожденной страны придуманные границы, выворачиваться наизнанку судьбы, распадаться семьи и даже теряться национальная самоидентификация (вот же словечко родилось, благодаря ельцинско-горбачевской революции).

Первоначально покажется, что герой очерка «Путешествие к мечте» всего лишь приезжает с семьей погостить в Бишкек накануне обретения им самостийности, но, наглядевшись на происходящие там события, мысленно перенесется вместе с читателями в «революционные» Тбилиси, Баку, Ригу, Ташкент... И далее по списку столиц Союзных государств, которые одной рукой голосовали за единое государство, а другой уже рубили по живому свое прошлое и, конечно, будущее.

И матушка Волга, опустевшая речными судами и человеческим наплывом, оставленная на произвол судьбы властями, прежде чуть не уничтожившими её своей яркой хозяйственной деятельностью, представляется одной из жилочек кровеносной системы Родины в очерке «О Волге, радости и боли нашей».

Тут очень к месту появится в рассказах и подбитая на охоте молодым азартным охотником непромысловая кедровка, из истории с которой выводы делают глобальные, почти вровень с известной по рассказу Брэдли раздавленной бабочкой, изменившей будущее. И история и выводы эти напомнили мне рассказы Константина Паустовского военной и послевоенной поры, напомнили не сюжетом, а сопереживанием за настоящее и будущее родной земли.

Ощущение, что Ольга чуть ли не олицетворение самого СССР. Она, как страна, долгие годы выслушивала боли своих граждан-соотечественников, но однажды эти соотечественники пришли к ней с болями и переживаниями не телесного рода, а с душевной по-детски наивной радостью и рассказали ей об огромном и «прекрасном» мире вокруг. Это для души неготовой к потрясениям подобного рода оказалось смертельно опасным «даром». СССР — будучи большим ребенком, в некотором роде «калечным» с рождения, жил в своих детских романтически жертвенных установках.

Жертвенность и спаяла все его клеточки, весь его организм, скрепила его, позволяя существовать во враждебном мировом пространстве капитализма незащищенному телу и разуму.

А так как существование личности складывается не только из глобальных факторов, но в первую очередь из личного опыта, то и рассказы в книге чередуются. Всемирного значения катаклизмы переплетаются с местными проблемами, а там и до человеческих историй совсем недалеко.



**Валерий Сдобняков и Борис Лукин  
на родине Василия Макаровича Шукшина. Алтайский край. Сротки,  
гора Пикет. Июнь 2009 г.**

Центром книги не случайно стала повесть «Колька», которая одна могла бы составить целую книгу, и не единожды так издавалась. Именно она красноречивое доказательство непрерывности развития художественной литературы, потому и рассказ о детстве мальчишек разных веков и сословий — в некотором смысле «святое» ...

Сдобняковым продолжена традиция Аксакова, Толстого, Горького, Каверина, Катаева, Распутина (список может быть продолжительным, поэтому остановимся на этих писателях).

Продолжение линии оригинально и неповторимо, так как Колька — мальчишка советский, т.е. той «обруганной и опороченной» недругами страны, в которой не могло, по мнению их, вырасти ничего душевного, творческого, живого... Ан, нет... есть такие мальчишки: «...я вспомнил, как приезжал на два дня в деревню прошедшей зимой. Тогда в первый же вечер мы увиделись с Колькой. Вернее, он специально прибежал, узнав от родителей, что я приехал. Мы пили горячий чай из пузатого, поблёскивающего никелем самовара — его специально к моему приезду подготовила Прасковья Ильинична — и уже не помню из-за чего вышел спор, только мне долго пришлось доказывать Кольке, что все лешие, домовые и прочие чудища — это выдумки и в его возрасте верить во всё это не следует.

Колька слушал меня молча, перебивать старшего не смел, но чувствовал я, не верит он. Когда же я замолчал, Колька снисходительно спросил:

- А чудеса в лесу откуда берутся?
- Какие чудеса?
- Завтра покажу, пойдешь со мной?

Я засмеялся. Ну какие чудеса он мне мог показать? А тут ещё раззадоренная нашим спором Прасковья Ильинична — время уже позднее, на ночь укладываться пора, а мы ещё и расходиться не думаем — прикрикнула на Кольку.



— Давай беги домой, пострел. Отец тебе сейчас покажет чудеса.  
Так что договорить мы не успели...

А потом уже не взрослый рассудительный и многознающий человек будет рассказывать мальчишке о мире, в котором он живет, а Колька — доверчиво и самозабвенно — посвятит его — кажущегося себе многоопытным — в свою сокровенную тайну: «говорящее дерево», а еще умение слушать ветер... и не только...

«Колька догадался, что я..., рад его приходу и чувствую себя неловко, виновато за первоначальную грубость, осмелел и опять возбужденно заговорил.

— Ну пошли же, пошли!

— Куда?.. Вот ведь пристал, — без злобы проворчал я, вставая со стула и направляясь в сени за плащом и сапогами.

— В лес, на ветре кататься.

— На ветре?!

За последнее время я успел привыкнуть ко многим чудачествам Кольки, но это было уже слишком...

И тут на меня нашло: «Да почему этот мальчишка то и дело ставит меня в тупик? Я устал от его загадок. Зачем я слушаю его, лазаю с ним по оврагам, хожу по лесу? Почему я так привязался к нему? Что мне от него нужно? Ради чего всё это?»

Но чем больше я так думал, тем отчетливее осознавал, что ни на один вопрос ответить сейчас не могу. И раздражение от этого только возрастало, потому что в подсознании я ощущал необходимость ответить на них. Я понимал: пока не будет разгадана эта тайна — сердце не обретёт спокойствия, а я не пойму, не постигну чего-то очень важного и нужного.

— Хорошо, — с раздражением бросил я Кольке и направился в сени...

Ольга умирает, никто больше не расскажет ей о своей душевной или телесной боли. Осталась в мире её душа... но вся она по сути своей и была всю жизнь — лишь душой. И вбирала она в себя боли не тел человеческих только, а душ болезненную вибрацию!

Колька же — еще одна составляющая этой русской вечной души. Мальчишка, умеющий найти говорящее дерево, открыть свою звезду и... подарить ее полюбившемуся ему человеку.

Его звезда — та русская душа, которую мы из века в век так щедро дарим всему человечеству, бросаясь в пламя самопожертвования, хотя мир и поныне не готов воспринять и понять, а главное, поверить в бессеребренничество, беззащитную распахнутость нашу душевную, и телесную жертвенность... Оттого и пытаются погубить Россию, считая опасно непонятной.

*«Пройдёт время, изменится что-то во мне и вокруг меня. Я постарею, но этот взгляд останется. Кто-то задолго-задолго до нас с Колькой вот так же пристально смотрел в ожидании и предчувствии каких-то ещё непонятных, но очень больших перемен, потерь и приобретений. Это был взгляд детства с непотерянной ещё наивностью, с беспредельной верой в чистоту и справедливость, с верой во всегдашнюю правду окружающего нас мира. Но это был взгляд на пороге взросления. Колька неосознанно чувствовал это. Да, он верил, что сможет с помощью той жертвы, которую приготовил, удержать меня: ведь «от подарков нельзя отказываться». И всё-таки верил не до конца. Маленькое, совсем крохотное сомнение уже жило в нём, будило предчувствие неизбежного, волновало и пугало. Может быть, Колька и не понимал, но наверняка в нём самом уже что-то догадывалось о том, что сейчас произойдёт то, чего все мы нестерпимо желаем, — потеря детства и первый урок взросления. И этот горький урок должен был дать Кольке я.»*

Вроде бы и говорить больше не о чем, урок дан не только Кольке, но и всем жителям СССР... И все точки над «і» расставлены самим писателем.

Но вот нашёлся очень многое объясняющий штрих из ещё не разъясненного мною прежде и понятого во время размышления над «Лестницей». Казалось бы, не первый раз пишу о творчестве Сдобнякова, а удалось разглядеть еще кое-что важное, глубинное... самобытное, незаметное только потому, что написано художественной прозы им совсем немного по меркам русских классических многотомников, и не попадали его произведения в руки читателям вот так, цельным массивом, как в этой книге.

Особенно бросается в глаза его доморощенный традиционализм. Именно эта его приверженность классической манере и позволила ему освоить один из уникальных приемов в русской литературе — соединение воедино публицистики и художественной прозы. Это сращение очень уж ко времени сегодня. Потому хотя бы, что слишком многое надо успеть сказать-рассказать о случившемся с нами за последние десятилетия. А чисто художественное повествование подразумевает глубокое осмысление происшедшего, т.е. некоторый жизненный промежуток. Очерк же, внутри которого так уютно чувствует себя Сдобняков, позволяет остаться на уровне прозрачной акварельности или резко перейти к линейности и отточенности графики, если говорить языком живописи.

Предлагаю посмотреть, как ему это удастся в «Путешествии к мечте».

*«Перегнувшись с кормы, я смотрю и смотрю на завораживающе струящуюся воду. Ветер вроде бы чуть тревожит паруса, а кажется, что яхта летит по воде, набирая огромную скорость.»*

*Я опускаю руку в забортную воду. Струясь прохладой, она ласкает мою ладонь, пальцы.*

*Здравствуй, мечта, здравствуй, казавшаяся несбыточной сказка. Я увидел тебя, окунулся в твои чистые воды, и как язычнику, выполнявшему заклинание, мне теперь будет чуточку легче и светлее жить. Счастлив ли я от свершившегося? Не знаю. Мне светло и покойно на душе. Как хочется по возможности дольше сохранить в себе это чувство, волнующий трепет в сердце.*

*Струится мелкими пузырьками вода сквозь пальцы. Голубая вода — белыми пузырьками. И нет сил убрать руку, оторвать взгляд, отвернуть лицо от свежей прохлады, закрыть глаза от ярких солнечных бликов на воде. Нестерпимо хочется нырнуть за борт, вслед за солнечным лучом уйти, погрузиться в голубую глубину, колдовски-манящую в себя, зывающую. Каким спокойствием, умиротворением дышат эти воды, горы и медленно пробирающиеся меж ними облака, цепляясь неровными краями за склоны. Они медленно, брошенными комками плывут своим неведомым путём. И только высоко в белёсом небе вольно и неподвижно легкой дымкой раскинулись перистые облака...*

*Я пытаюсь писать об озере, находящемся где, в какой стране? Да и сам я где сейчас нахожусь — дома, в собственной стране и все эти дорогие моему сердцу люди — кто? Мои сограждане? И не случится ли, что в одно время всех их я могу потерять? (Например, пока писались эти заметки, Грузия закрыла границу Абхазии и начала там кровопролитие.) И вообще, все мои воспоминания, что вот уж сколько времени бередят душу, — это дань «имперскому мышлению»? Чувшь! Ну ведь чувшь несусветная! Глупость! Да, никто не может народу приказать жить так, как он того не желает. Но почему нам нельзя жить, как и прежде, вместе, не убивая и не ненавидя друг друга? Да мы, собственно, и живём все вместе, так и не уразумев, что всех нас уже поделили, разъединили, прикрепили.*

*Словом, распорядились нашей судьбой по своему усмотрению. На фоне этих мыслей как-то уж совсем некстати вспомнился мне октябрь 1990 года. По особому уютный, усыпанный багряной и жёлтой листвой осенний Самарканд...*

Меня предупредили, что на Иссык-Куле погода переменчива, но чтобы настолько... Мы ещё лежим на пляже и солнце, будто раскалённым утюгом прижигает наши плечи и спины, а из-за гор уже зловеще, без всяких ветреных и иных предупреждений наплывает чёрная туча.

Она клубится. Перевалила через горы, вмиг почерневшие, потерявшие рельефность и лишь вычерчивающие контуры вершинами и перевалами, в небе начинает предупреждающе долго и раскатисто громыхать. И вот уже нет солнца, сумерки накрыли Иссык-Куль. Но дождь не начинался ещё долго, и мы успели собраться и укрыться под крышею.

Гладь озера спокойна, только потеряла цвет, а там, куда ещё доставали лучи солнца в просветах тучи, поменяла его на бледнозелёный.

Дождь прошёл скоро, без ветра и оказался довольно мелким, невзрачным. Но тучи ещё какое-то время висели над озером, нехотя уползали за хребты гор. И тогда я увидел очередное чудо Иссык-Куля. В очищенный просвет неба у противоположного от нас берега хлынуло солнце, осветив небольшой участок дальних гор так выпукло, так контрастно, а чистейший воздух, словно гигантское увеличительное стекло, так приблизил их, вечно далёких, неясных, едва виднеющихся за лёгкой дымкой, что мы, наблюдавшие всё это с балкона коттеджа, ахнув, впились глазами в открывшееся нам волшебство, не смея громко произнести слова, будто боясь испугать видение.

Горы от сверкавших седых вершин до хребтов, отрогов, предгорий, перемежая цвета от зелёного до буро-коричневого, сами излучали лёгкий, трепетный свет. Они сияли своим особым, пронзительным сиянием, высвечивая каждый выступ, холмик, ущелье, кусок торчащей, остро-отточенной ветрами и непогодой скалы. Совершенно лишённые растительности — ни кустика, ни деревца, только зелёный бархат травы, покрывшей отроги и кое-где поднимающейся к перевалам, — они тем не менее были прекрасными, живыми и какими-то очень добрыми.

Горы — и добрые. Но, как ни странно, именно такая ассоциация пришла в голову троим из четверых. И не я первым произнёс её вслух.

Так вот из чего состоит это чудо под названием Иссык-Куль! Вечное чудо на вечной земле Киргизии...

...Так чего же мы лишаемся, какую страну теряем, думал я долгой обратной дорогой до Бишкека. Куда приведёт нас очередной изгиб гигантской воронки и кто наблюдает за этими изгибами, за нашим путём? Ведь не в хаосе и случайности мы появились на свет, живём в нём и умираем каждый в свой срок. А как мне отказаться от памяти, от пережитого в Латвии, Грузии, Абхазии, Узбекистане, Казахстане, Киргизии?.. Какими доводами и разговорами о благе оправдать пролитую человеческую кровь, страдания детей и стариков? Как выбросить всё это из памяти, отречься? Тут я опять вспомнил иверских монашек. Не их ли молитвами и ещё подобных им мы не теряем что-то очень важное в жизни? Не их ли молитвы сдерживают нас от страшных, до конца не обдуманых шагов, перекраивающих всю нашу жизнь?..»

Сдобняков и как человек, и как писатель необычен. Вглядитесь ещё раз, вслушайтесь, одному из героев он дарит сокровенные свои собственные авторские мысли: «Сашка подумал, что во всём этом кажущемся хаосе происходящего с ним есть своя закономерность. Он не знал, можно ли это назвать судьбой. Сашка не привык к таким словам... Но ведь всё, что происходило и происходит с ним, предназначалось в жизни именно ему».

Читателю не следует сердчать на меня за столь обширное цитирование (многие ли успели прочитать книгу «Лестница»?), а лучше задумайтесь, какие мысли могут рождаться при виде столь величественных и одновременно трагических картин? И приходят на память вечные истины,





**Борис Лукин и Валерий Сдобняков**

которые суетно стираются в сознании, а настоящая литература их поднимает из памяти, как из глубин свежее течение: «Не в хаосе рождаемся, а в любви!».

В любви и добре, а значит — из вечности в вечность перейти можно только с двумя этими поводырями, рука об руку.

И смысла этот сокровенный раскрывается не каждому, а что еще важнее, не просто так открывается... понимается... осознается... и становится литературой, а значит и будущим.

Сашка из «Сезона», переживший свое первое рабочее мужское лето на прииске, поможет мне подвести итог моего повествования о книге Валерия Сдобнякова и о еще одном этапе его творческой судьбы: *«Но за этот прожитый день Сашка понял, что человеческая жизнь на земле — это вечная и непостижимая тайна. И чтобы не думать об этом, утомлённые люди, потрясённые только что увиденным и пережитым, вновь принимаются за работу, предназначение которой только и объяснимо в этой жизни. Вновь принимаются за своё спасение».*

Только это спасение и приносит в итоге свободу, потому что смерть никто не отменял, так же как и вечную жизнь. Только тогда и видно солнце (*On voit le soleil!*) в конце тоннеля...

Времена меняются... оазисы поглощаются пустынями, горы становятся равнинами или дном океанов. Но человек остается прежним. Соломон был прав. И не он один. Об этом полторы сотни лет назад говорил еще всё тот же Ф.М. Достоевский в письме брату сразу же после своей отменённой казни (отрывок из письма В. Сдобняков и поставил эпиграфом к «Лестнице»): *«Брат! я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою... Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда!»*

*Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это всё-таки жизнь! On voit le soleil!»*

И как Ольга из «Лестницы» сумела помочь обрести себя многим и многим, приходившим к ней, так и Валерий Сдобняков вернет жизненные силы всякому сердечно открытому и вдумчивому читателю. Лишь бы они рождались под солнцем — читатели... и не ленились взбегать по «нелишней» лестнице жизни, с терпением, надеждой и молитвой, отсчитывая ступеньку за ступенькой, взбирались к вершине, чтобы дать имя своей собственной звезде, которую видно даже днём.